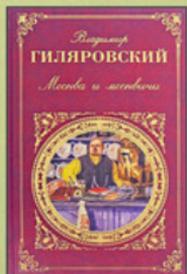


Владимир Гиляровский

Восходящая звезда



*Часть сборника
Москва и москвичи (сборник)*



Владимир Алексеевич Гиляровский
Восходящая звезда
Серия «Люди театра»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172973

Москва и москвичи: Эксмо; М.; 2008

ISBN 978-5-699-11515-0

Аннотация

«В семидесятых годах прошлого века самым безлюдным местом в Москве была Театральная площадь, огороженная с четырех сторон пестрыми, казенного рисунка, столбами, и сквозь них был протянут толстый канат...»

Владимир Гиляровский

Восходящая звезда

В семидесятых годах прошлого века самым безлюдным местом в Москве была Театральная площадь, огороженная с четырех сторон пестрыми, казенного рисунка, столбами, и сквозь них был протянут толстый канат.

У австралийских дикарей были такие священные места, куда нога смертного не должна была ступить, и виноватый, преступивший закон, изданный жрецами, подвергался смертной казни за нарушение «табу».

Такое «табу» лежало на Театральной площади: оно было наложено командующим войсками Московского военного округа и соблюдалось преемственно с аракчеевских времен, с тою только разницей, что виновного не казнили, а отправляли в квартал (тогда еще «участков» не было, они введены с 1881 года), чего москвичи совершенно справедливо боялись.

– Насыпят по первое число, а то, гляди, и выпорют!

* * *

Удивительная площадь! Кусок занесенной неведомой силой мертвой тундры с нетронутым целинным снегом, огороженной казенными столбами и веревкой! Тундра во всей це-

ломудренной неприкосновенности.

И это в то время, когда кругом кипела жизнь, гудел всегда полный народа Охотный ряд, калейдоскопом пестрел широкий Китайский проезд, и парами, и одиночками, и гружеными возами, которые спускались от Лубянской площади, упирались в канат и поворачивали в сторону, то к Большому театру, то к Китайской стене, чтобы узким проездом протолкаться к Охотному ряду и дальше.

Думается, что лихой наездник Аполлон, правящий четверкой коней со своей колесницей над фронтоном театра, кричит: «Вот дураки! Чем зря кружиться, сняли бы с среднего пролета кусок веревки – и вся недолга!» И ругается греческий бог, как пьяный кучер, потому что он давно омосквичился, а в Москве все кучера пьяницы, а трезвых только два: один вот этот, на Большом театре, а другой на «Трухмальных» воротах у Тверской заставы, да и то потому, что тот не настоящий кучер, а «баба с калачом».

Вслед за старым москвичом Аполлоном, уже вслух на всю улицу ругаются и все кучера, и извозчики и ломовики. А богатеи, что на собственных выездах щеголяют, даже заикнуться не дерзают. А замолчали они после того, как их выборных «отцов города», когда в заседании думы они эту Аполлонову мысль об открытии одного пролета высказали, начальство так пугнуло, что душа в пятки ушла.

Командующий войсками генерал Гильденштубе велел передать городскому голове, что «в Думе пусть думают, что хо-

тят, а говорить, что не полагается, – не сметь!»

На десять лет замолчала Дума, пока какой-то смелый главный опять не поднял этого Аполлонова вопроса об открытии пролета для удобства проезда. И снова получился такой же строгий оклик, хотя командующий войсками был другой генерал – Бреверн де ля Гарди.

И снова вся Москва продолжала кружить около каната.

Целинный снег все лежал и лежал целомудренной белой скатертью, а кругом каната ходили хожалые и будочники и наблюдали, чтоб кто-нибудь не нарушил «табу», и особенно следили, чтобы «канатные» прогуливались только рядом с канатом с одной стороны площади и не толкались у фонтана. Это уже они творили волю обер-полицмейстера, издавшего приказ: «Ввиду соблюдения благоустройства строжайше запретить шляться проституткам Чельшевских и Китайских бань по тротуарам и разрешить им хождение только по наружной стороне площади на три шага от каната и только с одной стороны, к Китайской стене выходящей».

Так и звали этих особ «канатными», и не было тогда хуже оскорбления, как ругать: «канатная».

Они состояли в полной власти будочников. Пост около каната по полиции считался наградой: туда посылали, как в допетровские времена воевод в отдаленные города «на кормежь».

Любоваться площадью и сценами около каната можно было из окон трактира знаменитого Тестова, числившегося, как

писалось на его прејскурантах, «поставщиком двора его императорского высочества великого князя Владимира Александровича», посещавшего, как и другие высокопоставленные, трактир во время своих наездов в Москву.

Но «поставщика» и герб великокняжеский Тестов получил за доставление к великокняжескому двору своих, действительно замечательных, молочных поросят, выращиваемых каждый в особом ящике с перегородками, «чтобы он жирку не сбрыкнул».

Когда высокие гости приезжали к Тестову, швейцар бежал на пост к полицейскому: – Гони своих канатных под Китайскую стену – начальство наехало!

И любовались гости из трактира на площадь белоснежную, безлюдную, не тронутую ногой человеческой.

Редко, редко, когда след по снегу появлялся. Находились энтузиасты, любители сильных ощущений, которые подлезали под канат, если, конечно, будочника близко нет, и стремглав перебежали площадь, что некоторым удавалось, и они после, указывая приятелям на следы, хвастались:

– Это я пробежал!

Десятки лет пустовала площадь. А, кажись бы, чего искать лучше места для зимней прогулки детей! Но никогда следа детских ножек и салазок не появлялось там, потому что было строго приказано не пускать ребятишек мять казенный снег.

А все-таки снег мяли и следы на нем были, иногда одиночные, а то и групповые. Тут предержавшая власть была бес-

сильна. Да и что могла поделывать полиция с собаками, которые, пробегая из Охотного или в Охотный прямым путем, иногда деловито останавливались у столба, балансируя на трех ногах, а четвертой, непременно задней, поддерживали столб, может быть из осторожности, чтобы не упал: вещь казенная. Мало ли что собака думает? Собаки умные! По крайней мере, они учли, что безлюдная площадь – это самое удобное место для их свадеб, которые они и играли на виду у всех. Бывало, весь снег испетляют следами, а ничего не поделаешь!

Наконец открылся один пролет, пошла потом по нему конка, а затем трамвай, и в конце концов, вместо целинной снеговой тундры зимой, грязного болота осенью и весной и покрытой туманами пыли летом шоссированной площади образовался чудный сквер – место отдыха москвичей и радость детям.

Круглый год гуляют дети там, где в старые годы устраивались раз или два в году парады войск и ради этих двух раз площадь была «пустопорожним местом», как писалось в казенных бумагах.

* * *

В первый раз я увидел площадь в декабре 1875 года, когда приехал в Москву из Рязани ночью и остановился у приятеля, актера Селиванова, в его номере, в «Челышах», так как

у меня не было ни копейки денег.

На другой же день я пошел в Артистический кружок, где по рекомендации актеров Киреева и Лебедева был принят на службу помощником режиссера, и обосновался в столице.

До восьмого марта 1876 года я и внимания не обращал на площадь, а в этот день площадь осталась у меня в памяти навсегда.

Я вышел из актерского подъезда «Челышей», что против фонтана работы скульптора Витали. Было десять утра, а репетиция – в двенадцать. Я остановился на углу Китайского проезда и нашей гостиницы и впервые подумал: сколько зря приходится крюку делать! То ли дело, если бы этого дурацкого каната не было: иди по диагонали прямо от подъезда гостиницы до подъезда Кружка! А то вот кружи по тротуарам Малого театра, а потом около подъезда Большого – ровно вдвое дальше! А главное, переходить среди беспорядочной езды по суетному Китайскому проезду! Потом уже его городская управа назвала Театральным, а народ доселе все Китайским зовет. Кроме Челышевских, были на другой стороне, на углу Неглинного проезда, Китайские бани. Их потом переименовали в Центральные, а долго звали Китайскими.

* * *

Сейчас, когда я пишу это, в тысячный раз благодарю тот

самый дурацкий канат: не будь его – я многое бы потерял в жизни.

День солнечный. Огороженная площадь бела от свежего снега, хотя на улицах снег уже обратился в ореховую халву.

Стою и люблюсь задрапированным снегом Аполлоном в колеснице на четверке коней. Он украшает фронтон Большого театра, поддерживаемый колоннами, из которых каждая весит двенадцать тысяч пудов или держит такой груз, как мне говорил когда-то архитектор М.Н. Чичагов. Любуюсь пролетавшим полицмейстером Араповым, то есть не им, а прекрасной рыжей парой, золотившейся на солнце. Коренник мчится призовой рысью, а красавица пристяжка изогнула шею кольцом, морда вниз: «Землю ест!» На повороте с Петровки он переехал собачонку, сшиб с головы лоток у разносчика и умчался, даже не оглянувшись.

За ним сверху, с Лубянки, мчались одиночки, пары, тащились ваньки – зимники на облезлых клячах, тоже ухитрявшиеся торопиться под горку. Обрато, из Охотного, встречные им, едут в гору обыкновенно тихо. Прополз сверху обоз, груженный мороженой рыбой. На паре битюгов везли громадную белугу, причем голова ее и туловище лежали на длинных дровнях, а хвост покоился на других, привязанных к задку первых.

– Белужина-то пудов на сто! – говорили в кучке остановившихся поглазеть на чудо природы.

Обоз застрял на повороте и задержал огромную древнюю

карету с иконой Иверской Божией Матери. На козлах сидели кучер и дьячок, головы которых были повязаны у одного женским платком, а у другого башлыком, потому что в шапке считалось икону грех везти.

Лавина саней сверху продолжала спускаться. Показался большой возок на четверке вороных лошадей цугом с фрейтором в монашеской скуфейке вместо шапки.

– Митрополит! – говорили остановившиеся прохожие, снимали шапки и кланялись возку, из окна которого митрополит в черной рясе с широкими рукавами и в белом клобуке с бриллиантовым крестом благословлял на обе стороны народ. Он ехал к Кремлю.

Но больше меня заинтересовал следующий выезд – карета на высоких круглых рессорах на паре старых-старых, но породистых крупных рысаков, с седым кучером в голубой бархатной шапке с четырьмя острыми углами. Рядом с ним такой же старый, министерского вида, с серебряными огромными баками, выездной лакей в цилиндре с золотым галуном, а над крышей кареты виселись две шляпы, тоже с галуном, над серьезными лицами двух огромных гайдуков, начисто выбритых. Они стояли на запятках, сзади кареты, держась за широкие ременные поручни. Сквозь окна кареты мелькнул передо мной лиловый капор, выглядывающий из пушистого воротника.

– Любуетесь Москвой? – сказал остановившийся передо мной высокий человек с проседью, в тонком пальто и мод-

ной тогда между интеллигенцией драповой шапочке «пирожком», на манер сербской.

Он протянул мне руку, сбросив с нее вязаную перчатку.

– Здравствуйте, Петр Платоныч! – обрадовался я.

– Любуетесь Москвой? В эти часы для наблюдений место интересное! Ну где вы увидите таких? – и он указал по направлению кареты с лакеями. – Это, изволите ли видеть, крупная благотворительница, известная под кличкой «Обмакни». Она подписывает бумаги гусиным пером и каждый раз передает перо своему секретарю, чтобы он обмакнул в чернила, и каждый раз говорит ему: «Обмакни». Ну, вот она как-то и подписала по ошибке под деловой бумагой вместо своей фамилии: «Обмакни». А вы, конечно, на репетицию?

– Да, но еще рано, вот и гуляю до двенадцати. День очень хорош, десять градусов.

– И прекрасно. Пойдемте в «Щербаки», и позвольте вас угостить расстегаем со свежей икрой.

* * *

Мы двинулись по тротуару Малого театра по направлению к «Щербакам», на Петровке против Кузнецкого моста. Этот трактир, в деревянном домике с антресолями, содержал старик Спиридон Степанович Щербаков, благодетель бедных актеров и друг всех знаменитостей артистического мира. Не успели сделать двух шагов, как сзади звякнули шпоры и раз-

дался голос:

– Князь, я вас вчера на бенефисе видел!

– Здравствуйте, Иван Львович!

Перед моим спутником стоял жандарм в пальто с полковничьими погонами, в синей холодной фуражке. Я невольно застыл перед афишей на стене театра и сделал вид, что читаю, – уж очень меня поразил вид жандарма: паспорта у меня еще не было, а два побега недавних – на Волге и на Дону – так еще свежи были в памяти.

Я теперь не могу сказать, о чем была афиша: я делал вид, что читаю, а на самом деле прислушивался к разговору и помышлял, как бы провалиться сквозь землю, потому что бежать боялся: как бы не вызвать подозрения. До меня доносились отрывочные фразы полковника, на которые односложно, как-то сквозь зубы, будто нехотя, отвечал князь.

– Эту пьесу следует запретить. Довольно уж разной нигилитины и своей, а то еще переводная!.. Да там прямо призыв к бунту!.. Играла прекрасно... Ну да только и она все-таки с душком, читает на вечеринках запрещенные стихи, Некрасова читает!..

Князь что-то отвечал – я не расслышал.

– Ну, я тороплюсь... Дела неотложные... – Щелкнули шпоры – и высокая фигура в сером пальто замоталась по тропинке рядом с канатом.

– Это главный московский жандарм. Хитрая бестия! Идет к себе в канцелярию. – И Петр Платонович Мещерский ука-

зал на большое желтое здание рядом с домом Тестова, доходившее до угла Охотного. Это был дом Журавлева. Впоследствии, в восьмидесятых годах, он сломал его и выстроил «во всех стилях» пестрый домище, который сдал ресторатору Пинчеру под гостиницу. Дом этот, в том же виде, стоит и теперь, как и дом другой, напротив, гостиница «Метрополь», сооруженный «по-модерному» Саввой Ивановичем Мамонтовым на месте старинного барского дома Чельшева.

Эту сторону площади изменили эти два дома. Зато другая – с Малым и Большим театром и дом Бронникова остались такими же, как и были прежде. Только владелец Шелапутин почти незаметно сделал в доме переделки по требованию М.В. Лентовского, снявшего под свой театр помещение закрывшегося Артистического кружка. Да вырос на месте старинной Александровской галереи универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» – огненная печь из стекла и железа...

* * *

Петр Платонович Мещерский, которого жандарм называл «князем», был действительно потомок обедневшей княжеской семьи. Прекрасно образованный, он существовал переводами, литературным заработком, гонораром за свои пьесы и был некоторое время мировым судьей. Его камеру охотно посещали газетные репортеры, находившие интересный ма-

териал для газет.

Это был очень остроумный человек, судья, умевший большинство дел решать примирением сторон, никогда не давая в обиду бедняка, чем и прославился среди малоимущего населения столицы. Он никогда не позволял выбросить на улицу домовладельцу, какого бы высокого ранга тот ни был, семью бедняка за невзнос платы. Бывало, так пристыдит богатея, что тот откажется от иска. Если же какая-нибудь купчиха или ерепенистая барыня судится с прислугой, то он так вышутит истицу, что вся камера покатывается со смеху. Он судил всегда по правде и в конце концов, снискав любовь и уважение населения, нажил себе врагов среди сослуживцев.

– Какой-то нигилист, а не князь! – шипели на него родовитые дворяне.

* * *

Опять скажу: если б не было каната на Театральной площади, я бы прямо прошел из «Челышей» в Кружок... Если б жандарм не задержал нас на три минуты, не было бы и другой знаменательной встречи и не было бы тех слов Петра Платоновича, которые на всю жизнь запечатлелись в моем сердце. Такие слова мог сказать только такой человек, как П. П. Мещерский.

Я с ним познакомился в первые дни моего поступления в Кружок, старшиной которого он был и ведал сценой. Он все

вечера проводил в Кружке, приходя поздно только в те дни, когда в Малом театре бывали новые постановки. И всегда – с актерами – будь они большие, будь они маленькие – днем завтракал в «Щербаках», а потом, когда они закрылись, к «Ливорно» и у Вельде, актерских рестораничек.

Его знали и любили все актеры, начиная с маленьких, и он был дружен с корифеями сцены, а в Малый театр приходил как домой. Его мнение об игре и постановке очень ценилось, и его указаний слушались знаменитости. Он был другом с Островским, Юрьевым, Чаевым, Лесковым, Горбуновым. Я видал его в их компании в Кружке неизменно, когда они бывали там. Он приходил рано, садился один за свой любимый стол у камина, рядом с буфетной комнатой, и вскоре к нему подсаживались и драматурги, и актеры, и литераторы. Он был центром для всех, а в «Щербаках» и «Ливорно», где постом все столы были заняты, садился куда придется, а пригласить Петра Платоновича к столу хотелось всякому, и он охотно знакомился с приезжими актерами, будь они первые персонажи или простые хористы.

Все знали театрала князя Мещерского, и все знали, что он не любит, когда его титулуют князем.

– У меня еще имя есть, Петром Платоновичем зовут, – говорил он кому-нибудь из новых знакомых, которые назовут его или князем, или – от чего он морщился – вашим сиятельством. Последнее он особенно не любил.

За глаза же, и даже в провинции, рассказывая о Москве,

актеры хвастались, что у них есть друг в Москве – князь Мещерский. И правда – бедноте он был друг, и к концу поста, когда актеры проживались до копейки, он многим помогал деньгами из своих очень небольших средств.

Он был холост. Жил одиноко, в небольшом номере в доме Мосолова на Лубянке, поближе к Малому театру, который был для него все с его студенческих времен. Он не играл в карты, не кутил, и одна неизменная любовь его была к драматическому искусству и к перлу его – Малому театру. С юности до самой смерти он был верен Малому театру. Неизменное доказательство последнего – его автограф, который случайно уцелел в моих бумагах и лежит предо мною.

В 1908 году, в мой юбилей, я получил от него на полутора листах поздравление: «В. А. Гиляровскому, старому театралу». Вот письмо, теплое и милое, написанное под его диктовку:

«Если Гиляровский хотя с малой сердечной теплотой вспомнит о нас, друзьях его детства, то для нас это будет очень приятно... Да, это было очень давно, то было раннею весною, когда мы, от всей души любя здешний Малый театр, в его славное время, были знакомы».

Письмо подписано: «Старый театрал, член Общества русских драматических писателей», и далее его собственноручная подпись дрожащей рукой, неровными буквами, без всякого нажима, сделанная, по-видимому, лежа: «Князь Петр Пл. Мещерский».

А внизу, опять чужой рукой: «Ново-Екатерининская больница».

Через некоторое время после получения письма я пошел навестить старого друга, которого не видал много лет, и не знал даже, жив ли он, но мне сказали, что его похоронили.

* * *

К театральному подъезду, скрипя железными шинами высоченных колес, дребезжа каждым винтиком, подползла облезлая театральная карета, запряженная парой разномастных «кабысдохов», из тех, о которых поется:

Были когда-то и мы рысаками.

Кучер, в рваном, линючем армяке, в вихрастой плешивой шапке, с подвязанной щекой, остановил своих дромадеров, по-видимому к великой их радости, у подъезда театра, и из кареты легко выпорхнула стройная девушка в короткой черной шубке с барашковым воротником и такой же низенькой шапочке, какие тогда носили учительницы.

Передо мной мелькнул освещенный солнцем нежный розовый профиль. Она быстро нырнула в подъезд, только остались в памяти серые валенки, сверкнувшие из-под черной юбки.

– Вы видели? – положив мне руку на плечо, сказал спутник.

– Славная барышня! Уж очень у нее движения легки...

Вся радостью сияет.

– Еще бы, в балете была! Да не в том дело. А вот вы верно сказали – вся радостью сияет. Это она после вчерашнего. Вы знаете, кто это? Это восходящая, яркая звезда.

– Не знаю.

– Ну так знайте, что эту встречу вы не раз в жизни своей вспомните... Это наша будущая великая трагическая актриса. Я вчера только окончательно убедился в этом... Не забудьте же – Ермолова.

Всю дорогу до «Щербаков» и сидя вдвоем за ранним завтраком еще в пустой почти зале он говорил – и я в первый раз в жизни был очарован таким человеком и таким разговором. Впрочем, я молчал и, кажется, только единственный вопрос и предложил:

– О ком говорил жандарм? Кто это она «с душком»?

Задаю этот вопрос, а сам думаю с трепетом сердца: «Уж не Ермолова ли?»

Я вспомнил афишу «Овечий источник».

Именно о ней речь шла. Жандарм возмущился выбором для бенефиса такой революционной пьесы и припомнил ее участие на студенческих вечерах. Князь продолжал о бенефисе. Рассказал сюжет «Овечьего источника», рассказал о детстве Ермоловой и ее дебюте, о ее нарастающем успехе.

– Только вчера я неопровержимо убедился в этом. Я вчера пережил такие восторженные моменты, да не один я, а весь театр; такие моменты, о каких до сих пор и в мечтах не бы-

ло. Монолог Лауренции, обещанной командором ордена Колотавры, владельцем Овечьего источника, призывающей на сходке народ отомстить тирану, вызвал ураган восторга, какого никто не запомнит. Особенно слова ее в монологе:

Почти своими сдали вы руками

Овечку бедную волчице хитрой -

были произнесены с таким героическим энтузиазмом, какого никогда не слышал даже Малый театр со времени, может быть, Мочалова.

* * *

После завтрака Петр Платонович проводил меня до подъезда Кружка. С этого дня началась наша дружба, скоро, впрочем, кончившаяся, так как я на Пасхе уехал на много лет в провинцию, ни разу не побывавши в этот сезон в Малом, потому что был занят все спектакли, а постом Малый театр закрывался.

Но все-таки постом я еще раз видел, и тоже издали, Ермолову. Это было у нас, на вечере Артистического кружка.

Немало дней и ночей между первой и этой второй встречей я думал о Ермоловой, немало переговорено было о ней за это время с Мещерским – и великолепный образ артистки всплыл передо мной в ряде картин. Год за годом, шаг за шагом...

Через двадцать лет, в 1896 году, в юбилейные дни Марии

Николаевны, я прочел ряд статей о первых годах ее жизни – и прочитанное показалось мне знакомым.

Я уже знал от Петра Платоновича, что пятилетняя Ермолова, сидя в суфлерской будке со своим отцом, была полна восторгов среди сказочного мира сцены; увлекаясь каким-нибудь услышанным монологом, она, выучившись грамоте, учила его наизусть по пьесе, находившейся всегда у отца, как у суфлера, и, выучив, уходила в безлюдный угол старого, заброшенного кладбища, на которое смотрели окна бедного домишки, где росла Ермолова. Там, на этом пустыре, с вросшими в землю каменными гробницами, она одна декламировала монологи. Это грустное место было местом ее гулянья и первых сценических восторгов.

Девяти лет отец отдал ее в театральную школу, где на драму не обращалось внимания, а главным был балет. Танцевали целый день, с утра до вечера, и время от времени учениц посылали на спектакли Большого театра «к воде».

Не давались танцы кипевшей талантом девочке и не привлекали ее. Она продолжала неуклонно читать все новые и новые пьесы у отца, переписывала излюбленные монологи, а то и целые сцены – и учила, учила их. Отец мечтал перевести ее в драму и в свой бенефис, когда ей минуло тринадцать лет, выпустил в водевиле с пением, но дебют был неудачен.

Прошло еще три года. Отец попросил И. В. Самарина, и он, по дружбе, согласился поучить дочь, но через два-три дня от урока отказался и посоветовал оставить дочь в балете.

А она упорно не бросала своего. В училище, во время отдыха, она читала товаркам монологи и восхищала их.

Репетировали для бенефиса Н. М. Медведевой «Эмилию Галотти». Пьеса, по обыкновению, находилась у отца, и дочка, как и всегда, прочла ее, увлеклась, переписала и выучила роль Эмилии и опять в школе прочла товаркам.

Перед бенефисом заболела Г. Н. Федотова. Играть некому. Бенефис пропадает. Кто-то из школы шепнул Н.М. Медведевой о дочери суфлера, читавшей роль Эмилии. Медведева прослушала, ей понравилось, и 30 января 1870 года в бенефисе выступила молоденькая, неведомая кордебалетная ученица.

* * *

С каким восторгом рассказывал мне все подробности Мещерский, очевидец первого триумфа Ермоловой. На его добрых серых глазах посверкивали слезы, когда он говорил об этом дебюте.

– С трепетом сердца я пришел в театр, но первое появление на сцене грациозной в своей простоте девушки очаровало зал, встретивший ее восторженными аплодисментами... Успех был огромный. На другой день все газеты были сплошной похвалой молодой артистке. Положение ее в труппе сразу упрочилось... А там что ни новая роль, то новый успех.

Ряд разнообразных ролей: и Марфинька в «Царской неведе».

сте», и Весна в «Снегурочке», и Катерина в «Грозе», и Альдара в «Сумасшествии от любви», Жанна д'Арк, Лауренция...

Теперь, перечитав целые книги о Марии Николаевне, я вспоминаю Петра Платоновича, слышу его тихий, восторженный голос...

Вспомнил я первые те слова его и 2 мая 1920 года, в великий день всенародного чествования Марии Николаевны в Малом театре, через сорок лет вспомнил.

Я сидел на сцене среди deputаций и вместо приветственной речи, под влиянием общего восторга, памятуя вешее слово незабвенного Петра Платоновича, приветствовал великую артистку тут же на программе набросанным экспромтом:

Полвека славы,
Красивой жизни
Одна, одна Вы
У нас в отчизне.
Без перемены
Тогда и ныне
Вы русской сцены
Одна богиня.
Одна, одна Вы
У нас в отчизне
В сияньи славы
Кипучей жизни!

И вспомнилось мне когда-то услышанное от П. П. Мещерского вещее слово.

– Это восходящая звезда!

Тогда для меня, еще молодого актера, увлеченного сценой, она уже явилась великой артисткой, хотя я увидел ее только на один миг: сверкнул и сейчас розовый профиль в морозный день на бриллиантовом фоне солнечного снега...

* * *

Через несколько дней совершенно неожиданно я увидел эту восходящую звезду в окружении светил, ярче всех засиявшую для меня.

Это было в Московском артистическом кружке.

По случаю болезни двух главных артистов отменили спектакль и решили заменить его музыкально-литературным вечером, программа которого была составлена на утренней репетиции, участвующие частью приглашены тут же, а если кто не явится, легко было заменить кем-нибудь из провинциальных известностей, из которых каждому было лестно выступить на московской сцене. А. М. Максимов сказал, что сегодня утром приехал в Москву И. Ф. Горбунов, который не откажется выступить с рассказом из народного быта, С. А. Бельская и В. И. Родон обещали дуэт из оперетки, Саша Давыдов споет цыганские песни, В. И. Путьята прочтет монолог

Чацкого, а П. П. Мещерский прямо с репетиции поехал в «Щербаки» пригласить своего друга – чтеца П. А. Никитина, слава о котором гремела в Москве, но на сцене в столице он ни разу не выступал, несмотря на постоянные приглашения и желание артистов Малого театра послушать его. В числе последних была и М. Н. Ермолова, сама прекрасная чтица, давно мечтавшая о Никитине.

Дирекция успокоилась, потому что такой состав сохранял сбор, ожидавшийся на отмененную «Злобу дня», драму Потехина, которая прошла с огромным успехом год назад в Малом театре, но почему-то была снята с репертуара. Главную женскую роль тогда в ней играла Ермолова. В провинции «Злоба дня» тоже делала сборы. Но особый успех она имела потому, что в ней был привлекателен аромат скандала.

Открыто говорили, что три действующие лица списаны с натуры: петербургский крупный делец барин...ищев; московский миллионер, разбогатевший на железнодорожных подрядах Петр Ионыч Губонин, и его сын Сережа, которого знали посетители модных ресторанов, как вообще знали там молодых купеческих сынков, не жалевших денег на удовольствия.

Потехин отнекивался, когда ему указывали, что он вывел известных людей, но ему трудно было оправдаться – в афише печатными буквами стояло опровержение, разбивавшее его самозащиту:

«Градищев – железнодорожный деятель, подрядчик Хло-

понин и Сергей Петрович, сын его».

Какие созвучия фамилий! А главное вот – Сергей Петрович!

По пьесе Хлопонин хочет женить своего сына на дочери Градищева, в которую тот влюбился, но которая, в свою очередь, влюблена в другого. В этом и драма. Пользуясь запутанными обстоятельствами Градищева, который приехал к нему, товарищу по подрядам, с просьбой выручить его деньгами, Хлопонин обещает, но взамен просит выдать дочь за своего Сережу. Градишев считает себя оскорбленным таким предложением и рассерженный выходит из кабинета миллионера, не простившись с хозяином и хлопнув дверью. Оставшись один, Хлопонин расстегивает свой долгополый сюртук, вынимает толстый бумажник, хлопает по нему ладонью и самодовольно бросает вслед оскорбленному барину:

– Придешь!

Этот конец второго акта имел особенно бешеный успех в Москве.

Пьеса написана прекрасно, кончается драмой и смотрится великолепно.

– Как живой Петр Ионыч! – кинул кто-то на спектакле крылатое слово, и на другой день весь город, так и живущий сплетнями, задыхался от смеха:

– Как Губонина-то процыганили!

– Да что ты?

– И сюртук долгополый, и золотая цепь через шею, и са-

поги бутылками! Ну как есть живой! И ухватка вся его! И Сережа его... Ну как есть купецкий сынок!

Губонин был крупный миллионер, начавший свою деятельность сперва десятником при постройке Московско-Рязанской железной дороги, а потом подрядчиком, забравшим и земляные работы по поставке камня, и наконец сделался владельцем крымской жемчужины – Гурзуфа.

– Это моя любовница, – говорил он про Гурзуф и распивал чай под пушкинским кипарисом, под которым лично для себя беседку выстроил...

После его смерти наследники под этим кипарисом расплескивали, угощая друзей, «пену сладких вин» гурзуфских виноградников, пока не расплескали и самый Гурзуф, и отцовские миллионы.

Да и не трудно было расплескать миллионы. Два сына Губонина были люди некоммерческие. Отцовское дело было с убытком ликвидировано. Гурзуф продан, из своего дома пришлось выехать на квартиру, и братьев разорили ростовщики. Первое время, пока еще были средства, братья жили широко. Благотворительные генералы и дамы-благотворительницы обирали их вовсю, да вообще у них никому отказу не было в деньгах.

Сейчас, когда я это пишу, жив в Москве старик, который рассказывает, что только благодаря младшему Губонину он не погиб.

В Москве в то время славился ростовщик А. Д. Кашин,

кругом Гарпагона с него пиши. Огромного роста, сухой и костистый, в долгополом сюртуке, черномазый, с ястребиными глазами, он с часу дня до позднего вечера пребывал ежедневно в бильярдной Большой московской гостиницы, играл по рублику партию на бильярде, причем кия в руки не брал, а мазиком с «ярославским накатом». Игру он сводил наверняка, да кто из клиентов отказался бы проиграть ему рубль в ожидании от него переписки векселя. Он прямо царил в бильярдной и главенствовал.

– Вот туда-то я и пошел, – рассказывал старик. – Поставил в бланк, на векселе в восемьсот рублей, родственника выручил, – он возьми да умри! Значит, с меня получать. А я бухгалтером на ста рублях служил, семья большая, сбережений ни рубля, а вексель у Кашина. Вхожу в бильярдную. Он, длинный, стоит у бильярда с мазиком в руках, зверски хохочет. А из-под бильярда вылезит красный весь толстяк в черном, измазанном пылью сюртуке, известный всей гулящей Москве бывший купец Емельянов, Иван Иванович. Он тогда уже был «на прогаре» и просил о переписке векселя, а Кашин над ним издевался. Проиграл, стало быть, он Кашину рубль и пролазку.

Оглянулся Кашин на меня, не дал мне даже поздороваться и кричит:

«Срок помнишь – хорошо! Ну становись по целковому, бери кий!»

«Да я сроду и в руках его не держал».

«Черт с тобой! Пойдем за мной».

Приводит в комнату рядом. Это, так сказать, его контора, зовет полового:

«Федя, дай чаю полпорции с медом. Получи с них».

Я заплатил полтинник.

«Ну, принес деньги? Давай».

«Нет у меня денег, выручите как-нибудь, Александр Данилыч!»

«Уж это ты судебного пристава проси, когда опишет...»

Я в ужасе, чуть не плачу – рассказываю о своих злоключениях, а он прихлебывает чай да только одно слово и говорит:

«Бывает... Бывает».

А потом встал, пошел в бильярдную – а там уж его ждут должники – и прямо за мазик. Я к нему с просьбой.

«Видишь, занят... Чего торопиться, еще завтра срок... Уходи с глаз».

Вышел я – себя не помню. Пошел наверх в зал, прямо сказать – водки выпить. Вхожу – народу еще немного, а машина что-то такое грустное играет... Вижу, за столиком сидит Губонин, младший брат. Завтракают... А у Петра Ионыча я когда-то работал, на дому проверял бухгалтерию, и вся семья меня знала, чаем поили, обедом кормили, когда я долго засижусь. Я поклонился.

«Петр Петрович! Садитесь завтракать... Я вот дожидаю приятеля. Не идет что-то».

Я сам не знаю, как сел и шапку на стол положил. Расспра-

шивает о семье, о детях, о делах. Отвечаю, что все хорошо, а у самого, чувствую, слезы текут... В конце концов я все ему рассказал и о векселе и сцену – с Кашиным.

«Ну вот какие пустяки, о чем думать! – Вынул из кармана пачку радужных, взял мою шапку, сунул незаметно в нее и сказал: – Принеси же мне вексель от Кашина, да поскорее, чтобы завтрак не остыл... Иди же, иди же, после расскажешь».

Спустился вниз, Кашин кончил партию, на меня никакого внимания. Подхожу к нему, а он на меня:

«Сказал, уходи. Чего ты?»

Я уж смелости набрался даже до нахальства.

«Давай, – говорю, – вексель, вот деньги!» – Приоткрываю ему шапку...

Он схватил меня за руку, бросил мазик на бильярд и потащил меня в комнатку. Там стоял уж другой поднос с чаем и вазочка с вареньем клубничным, а вместо чашек стаканы. Это он каждого приходящего к нему заставлял спрашивать порцию чаю в угоду буфету – не даром хожу, мол!

Вытащил паук из бумажника пачку векселей и показывает мой.

«Давай вексель».

«Деньги на стол! У меня один первогильдейский вырвал вексель да в один миг слопал... Ухватил меня, держит и лопает...»

Я выложил деньги, он счел и отдал вексель. А потом сде-

дал хитрую рожу:

«Ну и жулик же ты!»

При прощании сказал ласково:

«Ежели надо кредит, приходи, отказу тебе не будет».

Губонину я предложил выдать вексель на восемьсот рублей, а он отказался:

«Будут лишние деньги – отдадите, а если когда нужда, то к этому мерзавцу не обращайтесь».

Пришло время – Губонина векселя оказались у Кашина. Через несколько лет, когда я уже стал зарабатывать много, я возвратил мой долг в то время, когда уж совсем разорились наследники Губонина.

* * *

Хуже стало с наследством Кашина. Его судили за злостное ростовщичество и сослали в Олонецкую губернию, где он вскоре и умер, оставив после себя единственного сына, малого лет двадцати, которого держал, не отпуская от себя ни на шаг, в строгом повиновении, намереваясь сделать его продолжателем своего дела.

У отца другой клички для него не было в глаза и за глаза, как Данилка. Сухой, жилистый, черноглазый, ростом почти с отца и похожий на него во всем, оставшись круглым сиротой, Данилка – другого имени ни от кого ему и впоследствии не было – ошалел от богатства. Отец не давал ему ни рубля...

Первым делом попал в бильярдную Московской гостиницы, где он просиживал целые дни при отце, и встретился там с кутилой Емельяновым, тем самым, которого отец заставлял лазить под бильярд. Не забыл Емельянов разорившего его ростовщика и отыгрался на его детище!

Попал с ним Данилка к «Яру», потом на бега, а там закружил с прожигателями жизни и аферистами. Поймали его на унаследованной им от отца скаредности и жадности к наживе.

Первым делом шулера, которые повели умелую атаку – сначала проигрывая мелкие суммы, а потом выигрывая тысячи... Втравили в беговую охоту, он завел рысистую конюшню, но призов выигрывал мало... Огромный дом у храма Христа Спасителя и другие дома отца были им спущены, векселя выкуплены за бесценок должниками, и в конце концов он трепался около ипподрома в довольно поношенном костюме, а потом смылся с горизонта, безумно и зло разбросав миллион в самых последних притонах столицы.

* * *

Сбор в Кружке на вечер был полный. Взявшие билеты на «Злобу дня» охотно остались на литературный вечер, на дивертисмент с такой интересной программой. Тогда были в моде дивертисменты, а в провинции особенно. Редкий бенефис обходился, чтобы после основной пьесы не было ди-

вертисмента. В те годы очень любили слушать чтение, и чтецы тогда были прекрасные. Читка стихов считалась большим искусством, идеал чтения – чтобы стиха слышно не было. Старая мода скандирования стихов гремевшими трагиками уже прошла, мелодекламация, скрывающая недостатки стиха, была не нужна, потому что стихи выбирались по Пушкину – «если брать рифму, бери лучшую», да и содержание выбиралось глубокое, а главное, по возможности или с протестом, или с гражданской скорбью, всегда со смыслом. Особенно слушался Некрасов.

В провинции дивертисменты имели больше успеха, чем в столицах, да и чтецов между провинциальными премьерами больше было. В семидесятых годах на обе столицы славился Монахов, но он был гораздо слабее провинциальной знаменитости – южного актера П. А. Никитина, производившего огромное впечатление своим, им впервые введенным чтением «что стиха не слышно». Он был великолепный Чацкий, он не «играл», а «читал» Чацкого, но так «читал», что о его игре никто и не думал. Монолог «Не образумлюсь, виноват» вызывал бурю восторга с криками «бис».

П. А. Никитина Москва жаждала, но он упорно в ней отказывался выступать, хотя во время великопостных съездов актерских заезжал, бывал в Кружке, но на все просьбы выступить отказывался, хотя и упрашивали первые персонажи Малого театра, его друзья. Появление его имени на афише, вывешенной в залах Кружка, произвело впечатление.

Свободный день я провел у моих провинциальных друзей и явился в Кружок к восьми часам, ко второму звонку, когда зал был полон и все сидели на местах, боясь пропустить Никитина. Я прошел на свое место. По сцене – разодетые участники: фраки мужчин и открытые платья артисток и пиджаки старшин. На занавеси, как и во всех театрах, посреди сцены была прорезана дырочка, которая необходима режиссеру для соображения: как сбор, разместилась ли публика, можно ли начинать.

Две дырочки были пробиты в правой кулисе авансцены, где стояли табуретки и стул для помощника режиссера, – мое место в спектакле. Я рассматривал знакомых, которых узнал в Кружке и знал по провинции. Ко мне подошел П. П. Мещерский, сел на табурет и сказал:

– Ермолова здесь. Я отвел ей кресло, все хотят П. А. Никитина послушать. Собственно, я для нее больше и постарался пригласить Павлика. Он не любит выступать в Москве... Для нее только он и читает. В десять часов прямо из Кружка на поезд, только для нее и остался, уж я упросил.

– Где она?

– А узнайте!

– Вот против меня... Другой такой нет...

* * *

Программ печатных не было, и перед каждым выступле-

нием режиссер Карташев анонсировал.

– Павел Александрович Никитин прочтет стихотворение из сборника «Живая струна», – начал он вечер.

Тогда для цензуры не назывались стихотворения, а прямо писали или анонсировали: «из сборника „Живая струна“, так как сборник этот был единственный, допущенный цензурой для сцены.

Гром аплодисментов грянул в ответ. Особенно усердствовали провинциальные актеры, товарищи Никитина по сцене, и антрепренеры, съехавшиеся в Москву для заключения контрактов.

Здесь восседали и казанский Медведев, и орловский Лаухин, и самарский Новиков, и нижегородский Смольков, и ярославский Смирнов, бывший театральный ламповщик, ухитрившийся как-то жениться на дочери антрепренера и получивший после его смерти театр. Его звали «Потому что да-да-да» за поговорку, которую он повторял то и дело. У него, между прочим, в первый раз выступала М. Г. Савина.

Сидели здесь южные антрепренеры и между ними харьковский Иванов-Палач, безобиднейший человек, прозванный так за то, что это было его единственное ругательство, вырывавшееся у него в минуту крайнего раздражения...

– Палач! Палач! – кричал он на полицмейстера, запретившего какую-то пьесу...

Летом, когда перед спектаклем покажется туча, начинает рокотать гром и грозит дождь, который сорвет сбор, он вле-

зал на крышу театра с иконой молить Илью-пророка, чтобы он направил свою колесницу мимо Харькова, а если Илья-пророк не слушал и дождь шел, он брал икону под мышку, грозил кулаком в тучи и с привизгом кричал:

– Палач! Палач!

А на другой день Илье-пророку в знак покаяния молебен служил.

Первые ряды кресел занимали знаменитости сцены и литературы, постоянные посетители Кружка, а по среднему проходу клубочком катился, торопясь на свое место, приземистый Иван Федорович Горбунов, улыбался своим лунообразным, чисто выбритым лицом. Когда он приезжал из Петербурга, из Александринки, всегда проводил вечера в Кружке, а теперь обрадовался увидеть своего друга, с которым они не раз срывали лавры успеха в больших городах провинции – один как чтец, другой как рассказчик и автор сцен из народного быта.

Мне Мещерский шепнул на ухо:

– Вот взошла луна золотая.

В этот момент поднялся занавес и показался стройный, высокий, можно сказать, величественный, знаменитый чтец.

Зал гудел и сразу смолк, положительно замер, когда, отвечая на привет легким наклоном головы, чтец остановился рядом с суфлерской будкой. Он на минуту как бы задумался... с чего начать?

– «Поля»! «Поля»! – раздался шепот и громче других го-

лос Горбунова, занявшего свое место в первом ряду, между Г. Н. Федотовой и небрежно одетым маленьким человечком с русой бороденкой, спокойно дремавшим под гул аплодисментов. Это был драматург М. В. Кирилов-Корнеев, автор массы комедий, переводных и переделанных, которые чуть не ежедневно шли и в Малом, и в Кружке, и по всей провинции и давали ему большой заработок.

Сам же он всегда был без гроша – раздаст половину, а другую пропьет. А пьян он был постоянно, но всегда тих и безмолвен. Звали его за глаза Кирюшка-Корнюшка, но все любили его. Он напивался молча, придя в зрительный зал, неслышно дремал, а то и засыпал в кресле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.